

ВРЕМЯ
И МЫ 130
1995



СТОЛИЧНЫЕ ШТУЧКИ

В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ: МОСКОВСКИЕ ИГРЫ

ВРЕМЯ И МЫ

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ**

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

**Выходит один раз
в три месяца**

**130
1995**

**НЬЮ-ЙОРК - МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ И МЫ» - 1995**



ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН

Русский европеец Владимир Васильевич Вейдле, возможно, был последним энциклопедистом Серебряного века. Коренной петербуржец, он стал, в сущности, свидетелем конца этой поразительной эпохи в истории русской культуры. В свои петербургские годы Вейдле постоянно общался с Ахматовой, Мандельштамом, Корнеем Чуковским, и в эти годы и позже был одним из ближайших соратников и друзей Ходасевича.

Родился Владимир Васильевич Вейдле в 1895 году, окончил исторический факультет Петербургского университета, с 1921 по 1924 год был приват-доцентом на кафедре истории искусств. В 1926 году уезжает в Париж. За границей, и прежде всего среди парижской эмиграции, он приобретает широкую известность как литературовед и историк искусств, печатается в «Современных записках», «Последних новостях», «Возрождении», автор получивших широкую популярность книг «Задача России», «Вечерний день», «Безымянная страна», но особенную известность ему принесла книга «Умирание искусств», переведенная на многие европейские языки.

В 1975 году судьба лично свела меня с В.В. Вейдле. Это было в Париже, куда я привез ему письмо от одного из его иерусалимских знакомых. Жил он в то время на Авеню де Бальфур, в 16 арандисманте Парижа, в тихом старинном доме. Дверь мне открыла его жена Людмила Викторовна, а затем вышел и он, меня поразила его облик. Он был высок, величественен, настоящий дворянин, русский барин, каких в те последние годы уже редко можно было встретить в Париже. Мы довольно долго с ним беседовали, разговор вели вольный, был он великолепно образован — я слушал и поражался тому, как блистательно образован он. Каждого входящего в дом к Вейдле поражало обилие книг, книги были его миром, в котором он жил, работал, находил источники знания и вдохновения. Он знал почти все европейские языки и почти все мог читать в оригинале.

Умер Вейдле спустя четыре года нашей встречи, в 1979 году, оставив после себя довольно большую переписку. Два письма хранятся в моем архиве и по сей день. Работая в Бахметьевском Фонде Колумбийского университета, я обнаружил, что ореди корреспондентов Вейдле были Шагал, Эллиот, Валери, Генри Миллер, Клодель, Бертран Рассел, не говоря уже о его эпистолярном наследии, связанном с Роооией.

В течение многих лет он работал заведующим русской редакции радио «Свобода», что открывало ему возможность напрямую обращаться к многомиллионной российской аудитории. Владимир Васильевич Вейдле гордился этой своей миссией, никогда не переставая считать себя гражданином России, которой он, в сущности, и посвятил свою долгую жизнь. В этом номере мы предлагаем читателям подборку его воспоминаний, статей и эссе, которые, я надеюсь, помогут представить образ этого выдающегося человека.

Григорий Поляк

ЛЮДИ И ВРЕМЯ

Взвихренная Русь

Кто знал Ремизова хоть немного — как знал его я — не может читать его, или о писаниях его думать, его не вспоминая. Второго такого, то есть сколько-нибудь сравнимого с ним писателя не только, кажется мне, у нас, но и нигде не было в нашем веке, — такого, не просто выросшего в свое писательское дело, но и сделанного или переделанного им, обоудно с ним сросшегося, на равных началах: весь он в писательстве, но и оно все в нем, — в его делах и словах, в житейском его облике и укладе, в интонациях, повадках, смешках, шуточных проделках, в почерке — рисованном, хитром, другого больше у него и не было — в хитрой, «себе на уме», хоть и приветливой улыбке. Все это — «Ремизов», в той же мере, как и все написанное им. Придешь к нему: сидит нагнувшись над столом (не «письменным», «кабинетным», а простым, без ящиков) — читает или пишет. Горб себе нажил, просидел так всю жизнь; в кресле никогда я его не видел, да и кресла у него, кажется, не было. Перестанет писать, — рисует, низко склонившись над бумагой; близорук был с

детства, почти ослеп под конец; с белой палкой выходил, потом и вовсе не выходил. Подымет глаза от бумаги, взглянет на тебя «подстриженными» этими глазами, в последние годы, вероятно, едва тебя и видит, а покажется тебе очень пронизательным его взгляд. Скажет что-нибудь совсем особенным тоном, таким немножко, как нянюшки когда-то говорили, но и созерцательным в то же время: себя созерцающим, вырисовывающим фразы и слова. Тон этот — тот же почерк; почерк каким он надписывал свои книги, и каким мысленно, еще и пера в руку не взяв, их писал.

Перечитываю «Петушка», сказочку его, полюбившуюся мне задолго до знакомства с ним, давно, в России, и от первой строчки до последней слышу его голос, и даже вижу его, словно шевелящего губами, покуда я читаю, хоть и никогда я его чтения чего бы то ни было им самим написанного не слышал, а слышал только эстрадные его чтения Гоголя, Достоевского, Лескова, не в его обычном, а в приподнятом, наигранном тоне, очень метко «ударяющем по сердцам», но собственной его прозе все-таки чуждом. Ремизов говорит и пишет — все равно, что кружево плетет или бусы нанизывает; не на готовую заранее нитку, а на создаваемую самим движением речи, или записи этой речи (последнее думаешь, когда его читаешь, а не слушаешь). Первое свое крупное произведение, в Вологде написанное, в ссылке, «Пруд», назвал он романом и тщательно скомпоновал: две части в двадцать пять глав каждая, с возвращающимися мотивами, рисующими неизбежность судьбы, с прихотливо оттянутым финалом; но, вопреки ухищрениям этим, каждая главка остается отдельным завитком, и житейский матерьял, почти сплошь автобиографический, в живой вымысел не превращается, распадаясь на отдельные эпизоды, все подробности которых, опять-таки, не вытекают одна из другой, а только следуют одна за другой, узоры рисуют, узоры вымысла, подобные узорам речи, с постоянным господством выговариваемого сейчас над тем, что было и будет, и тем самым искусства слова над искусством вымысла.

Позже Ремизов и сам понял, что не романист он, не

эпический поэт, а сказитель, сказочник; а еще позже, что пересказать для него почти то же, что и рассказать. «Крестовые сестры» короче «Пруда»; «Плачужную канаву» так и не закончил. «Посолонь» была первой вполне ремизовской книгой. «Подорожье», «Докука и балагурье» (1913, 1914) были мои любимые до войны, до знакомства с ним, его книги. Вместе с напечатанной уже в Париже «Взвихренной Русью», это может быть лучшее, написанное Ремизовым. Но «Взвихренная Русь» и вообще стоит особняком. Ее первые сто страниц особенно; но и все дальнейшее записи наблюдений и воспоминаний — несравненный памятник первых после-октябрьских лет, где всего ярче сказалась непредвзятая зоркость ремизовского взгляда. Это и первая книга, которую я получил от него с изумительно начертанной, точно писцом посольского приказа при царе Алексее, дарственной надписью мне и жене. За ней последовали «Три сестры», затем «Посолонь» в новом издании, подаренная нам, как о том надпись говорит, в январе 33-го года «на Елку». В тот сочельник мы были в церкви с Серафимой Павловной и с ним, а потом угощались у него — или верней, у нее: на малороссийский лад — весьма затейливою снедью. И еще другие книги, пять или шесть, все надписанные столь же искусно, сохранились у меня, вплоть до «Круга счастья», вышедшего незадолго до его смерти. Пытался он и эту книжку, к восьмидесятилетию его вышедшую, также надписать, но по слепоте не смог. Чужою, женскою рукой мое имя выведено на ней, и к неудавшейся надписи на шмуцтитуле прибавлено: «Спасибо!».

За что, — об этом я еще скажу. Но замечу сперва, что все эти ремизовские надписи, вся каллиграфия его, все его бесчисленные рисунки, вырезки из цветной бумаги, грамоты и ордена «Обезьяньей палаты», раздававшиеся друзьям, — не какие-нибудь внешние причуды, а составная часть его писательского облика. Где это все теперь? Тот, кто займется им и полюбит его, не сможет остаться ко всему этому равнодушным. Нет и вообще другого нашего писателя, который в музее, памяти его посвященном, нуждался бы

более, чем он. Чтобы до конца понять его и принять, нужно иметь представление обо всех «околичностях» этих, да и обо всем его домашнем обиходе, о его ближайших друзьях — тех, кто снились ему в неизменно записываемых им снах — и уж, конечно, о необыкновенной Серафиме Павловне, прямо-таки испугавшей меня, когда я ее увидел в первый раз, необъятными размерами и неправдоподобно-розовым кукольным лицом («не заспала бы только щуплого своего супруга», бесчеловечно подумал я о ней), которую так нежно он любил и без которой доживал свой век так сиротливо.

Не все мне было совсем уж по душе, ни в этих книгах, ни в нем самом. Но всегда я думал, как думаю сейчас, что был он самым значительным, после Бунина, прозаиком нашего зарубежья, одним из крупнейших и вообще русских авторов этого столетия. Почти все его недооценивали в Париже вокруг меня; но это не относится к иностранцам, сколько-нибудь осведомленным о нем. Во французских «верхних» литературных кругах интересовались им намного больше, чем Буниним. По переводам догадывались о его своеобразии; личностью его обвораживались; молодые писатели его посещали; лучше журналы печатали его, или готовы были печатать.

К восьмидесятилетию Ремизова я написал (для восьмой книги журнала «Опыты») приветствие — тридцать строк всего — в московском немножко духе, — в его собственном больше, чем в своем. За них-то он меня перед смертью последней своей книжкой и отблагодарил. Их в заключение воспроизвожу, потому что и теперь, через двадцать лет — стилизацию и праздничный тон оставляя в стороне — не отрекаюсь от сказанного ими.

«Есть дешевая слава и есть дорогая — та, что покупается дорогой ценой, ценой отказа от всего, чем достигают быстрей, громкой, широкой и дешевой славы. Бывает, попутно с дорогой, улыбнется писателю и слава подешевле, но если он искал ее улыбок, пусть и довольствуется ими: большего ему неоткуда ждать. Ремизов улыбок не искал, спины перед

читателем не гнул, ни с каким спросом не считался. Зато, когда Россию еще не переименовали, и когда было ему сорок лет, а не восемьдесят, как сейчас, уже дана ему была та слава, что только и достойна называться славой, и был он признан теми, от кого такое признание зависит одним из первых русских писателей своего времени. Славу эту он с тех пор не растерял, а приумножил; уже и на Западе, если знают нашу литературу, не мыслят ее без Ремизова. Мы же, малая горсть, рассеянная по свету, тех, кто еще вслушивается в слово и отличает почерк от машинной скорописи, мы его чтим и славим за пристальность взгляда, за строгую взвешенность речи, за мудрое владение сокровищем нашего языка. Имя и отчество его мы повторяем про себя с любовью; помним: те же они, что того царя, при котором увяла вязь да узорочье, и углем рдели в сибирской стуже аввакумовы буйные письма.

Слава Алексею Михайловичу!

Ремизову слава!

На все времена, пока жив будет русский язык».

Сочельник у Ремизова

В тридцать третьем году, в Париже, пригласили нас, как я уже упоминал, жену и меня, Серафима Павловна и Алексей Михайлович по-киевски отпраздновать с ними сочельник, как не празднуют его ни в Петербурге, ни в Москве. Сперва мы вместе отстояли преддрождественскую службу в соборе на улице Дарю. Найти их там было нетрудно. Серафима Павловна высилась над толпою холмом, занимая место по крайней мере трех молящихся. Алексей Михайлович, щуплый, сутуленький, взъерошенный, и до плеча ей не доходил, хворостинкой казался рядом с ней или каким-то скрюченным подвеском, только что отстегнутым от ее пояса. Когда впервые увидел я их вместе, глаз от них оторвать не мог. Большого контраста и представить себе нельзя, чем

тот, что был между ними. Она — светлорусокудрявая, бело-розовая, с изящными ручками и кукольно-миловидным, слегка подрумяненным и сильно напудренным лицом — в память той хорошенькой хохлушки, какой она некогда была; огромная — по недоразумению; по замыслу — миниатюра. Не великанша, а шестнадцатилетняя невеста, пораженная молниеносным элфантиазисом. Держит себя, однако, под стать размеру: величественно. Ручку для поцелуя дарует, как императрица, мужа заслоняя (жаль, что в этом глаголе слона-то ведь, собственно, и нет). Красавицей себя подает, а он — уродцем. Прибедниваться любит, казанским сиротой и в церкви стоит, держится чаще всего в одинаковом расстоянии от шутовства и от надрыва. Говорить обыкновение имеет вкрадчиво; а она — высокомерно, и глядеть с достоинством, вот как и сейчас на Царские Врата. Искренней она, пожалуй, в повадке своей была, чем он. А ведь любил я все же Алексея Михайловича; Серафиму Павловну, каюсь, не любил.

Но вот кончилась служба и мы отправились все четверо на такси в Булонь (спускаться по лестницам метро Серафиме Павловне было слишком трудно). Не помню их тогдашней квартиры. Они переезжали не раз до того, как осесть на последнюю для них обоих — улица Буало, номер 7 — образ которой застилает для меня все прежние. Помню только, что стол в главной комнате был максимально раздвинут и заставлен всевозможными тарелками и блюдами с разнообразнейшей снедью, на добрую половину никогда мной прежде и невиданной. Преобладали диковинные на мой петербургский взгляд марципанные ватрушки и цукатом утыканые пироги, «мазурками» называемые (или в этом роде, ей Богу не вру), печь которые поляки научили малороссиян, так что Серафима Павловна сама все это выпекла, не без помощи, правда, действовавших под ее руководством более молодых и проворных женских рук. Подобное у нее и в предпасхальные дни происходило. Кто пасху заправлял, кто куличи, кто яйца красил, да и соответственный товар в подарок хозяйке приносил. Она ведь ученая женщи-

на была, курс славяно-русской палеографии в Высшей Школе Восточных Языков читала. Ученицы у нее были, а у Алексей Михайловича к литературе более или менее причастные молодые поклонницы или женатые поклонники. Всех их к производству, а затем, конечно, и к потреблению праздничных этих угощений и приспособляли. Алексей Михайлович, сколько помнится, особым сластеной не был; зато Серафима Павловна, хоть и положено ей было, хоть она воздерживаться и пыталась, больше чем несколько дней прожить без сладкого не могла. Тихо начинала плакать. Алексей Михайлович бежал в кондитерскую. Пять-шесть пирожных она съедала в один присест.

А еще была у них совместная забота: ссорить между собой молодых, или не столь уж молодых, своих друзей, нарушать их душевное спокойствие ревностью, завистью, вожделением и мало ли еще чем, намекая, что такая-то влюблена в того-то (самого слушателя) или что такой-то назначил свидание некоторой особе, которой он никаких свиданий не назначал. Получалось весело, но для играющих, а не для тех, кем они играли, и кто порой переставал у них бывать. Вел игру Алексей Михайлович, но мне всегда казалось, что зачинщицей ее была Серафима Павловна, после смерти которой игра как будто и прекратилась.

На улице Буало, без нее, приходилось плохо Алексею Михайловичу; с каждым годом все хуже; приближался он с каждым годом к полной беспомощности и слепоте. Обходиться никак бы не мог без людей, продолжавших его посещать и ему помогать: ссорить их друг с другом было бы неразумно. Да и подобрел он, по-моему. Одна осталась у него игра, от которой не мог он отказаться, которую он быть может и не замечал. Об одном актере (немецком) было сказано, что он и в жизни продолжал играть — самого себя. Так и Алексей Михайлович не переставал играть Ремизова — на людях, а быть может и наедине с собой. Переигрывал иногда, это именно людей и раздражало. Но ведь подлинный был все же и писатель, и человек. Нельзя этого забывать. Да и как же было, особенно в последние его годы, не

только сквозь книги (та же игра!), но и в игре умирающего актера не почувствовать этой его живой души.

Есть у него запись в дневнике за два месяца до смерти: «Что-то во мне других возмущает. Однажды, не помню у кого, за обедом мы оказались соседи с Федором Кузмичем Сологубом. Помню я был в таком своем веселом расположении. Сологуб, не обращавший внимания на соседство со мной, вдруг отчетливо повернулся ко мне, как к провинившемуся школьнику (он был преподавателем городского училища). С нескрываемым раздражением спросил: — Почему вы все врете? И я, словно разбуженный, растерянно смотрел, ничего не отвечая. И что я мог ответить?»

Что ответить? Читаю, и задумываюсь тоже. Особенно задумываюсь над этим «словно разбуженный». Играл Алексей Михайлович, играл самого себя — как во сне — и его разбудили. Да и снами он людей сердил, выдуманными или нет, причем и разницы тут большой не было, потому что невыдуманные становились в пересказе снами того самого «сочинителя», играца, сновидца, которого так грубо разбудил когда-то Сологуб. И «веселое расположение» раздражало. В той же записи записано, как Гершензон, при последнем свидании с ним, в Берлине, в 22-м году, сказал ему:

— Вы над всем смеетесь. Ни Гершензон, ни Сологуб не были полностью неправы. И все-таки я любил Алексея Михайловича, всегда в нем очень большого писателя видел и дорога мне осталась его память. Если хотите его полюбить и вы, достаньте книгу Натальи Владимировны Кодрянской, «Алексей Ремизов», вышедшую в Париже в 1960-м году, где напечатаны поздние его записи, письма к ней, разговоры с ней... Она как и переводчик его на французский язык, Н. Резникова — для него, одинокого и большого, очень много сделала, и он благословлял ее из самой глубины своего существа. Читая эту книгу, за которую благодарить ее должна русская литература, вы полюбите Ремизова — не только сквозь жалость, но и сквозь восхищение, сквозь преклонение. Какой святой и каторжный труд! Какое чувство слова и какая к нему любовь! Подвижником

подлинным он был, совершая свой писательский подвиг. Играл, куда мог, других «разыгрывал», но писательством было и это. «Сочинял», но ведь на то «сочинителем» и был. Прихожу раз к нему, вижу на его столе обломок мраморной крышки какого-нибудь ночного столика или комода конца прошлого столетия. «Это, — говорит он, хитро улыбаясь, — Сергей Константинович Маковский в Греции побывал, вот мне и привез. С Акрополя, кусочек Парфенона». Знал, конечно, что никто ему не поверит. Да и в Грецию Маковский вовсе не ездил.

— Алексей Михайлович, браво! Это в ваше полное собрание сочинений должно войти.

Полупророк, полупублицист

Это — воспоминания, или клочки воспоминаний. Но это и критика. Я ведь о пишущих пишу. Не сумел я, да и не хочу отделять их от их писаний. Они для писаний этих и жили; сами бы не захотели после смерти быть отрезанными от них. За них ведь и на Страшном Суде придется им держать ответ. А мой суд — не страшный. Это даже не суд потомства. Это всего лишь суд современного им читателя.

Из всех выдающихся русских писателей, не пожелавших остаться в России после «Октября», самым старшим и самым известным на Западе был Мережковский. Прославился он там еще до войны 14-го года своей переведенной на все языки трилогией исторических романов, особенно вторым из них «Воскресшие боги», центральной фигурой которого был Леонардо да Винчи. Но имя его и независимо от этой книги было известно повсюду, и повсюду он слыл самым крупным русским литературным критиком нового века, написавшим, в частности, самую авторитетную книгу о двух величайших писателях России, Толстом и Достоевском. Нынче на Западе как будто уже и думать перестали, что репутация эта в свое время была заслуженной; романы его, включая и трилогию,